

• ПЕЧЕТЬ ДУРАК • ПЕЧЕТЬ ДУРАК • ПЕЧЕТЬ ДУРАК • ПЕЧЕТЬ ДУРАК •

Tony Sart



-ДУРАК-
КНИГА 1

• ПЕЧЕТЬ ДУРАК • ПЕЧЕТЬ ДУРАК • ПЕЧЕТЬ ДУРАК • ПЕЧЕТЬ ДУРАК •

Тони Сарт

Дурак. Книга 1

<https://litres.ru/74647913>

SelfPub; 2026

Аннотация

Все, про что баяли старики в быличках-страшилках, чем пугали маленьких детишек в сказках, то давно стало явью. Выйди за ворота - лицом к лицу встретишься. Бродят по полям костوماхи, творят зло во имя Пагубы мертвые колдуны-умруны, чинит непотребство нечисть, будто ума лишившаяся И возвращаются вновь в мир Руси Сказочной древние чудища, прочь изгнанные да в темницах когда-то заточенные.

Страшно?

Любой сидел бы в своем остроге, грелся на печи и носу не казал за ворота дубовые, копиями обитые, наговорами заговоренные. Да издревле так повелось, что нет дуракам покоя. Не усидеть им на одном месте, не жить спокойно да чинно, будто тянет их какая сила потаенная за руку, в спину толкает. И наш молодец не стал исключением. Ведомый жаждой подвигов (как водится из-за красной девицы, как же иначе), отправился он в дорогу. Да только нелегким будет путь в чуждый, чужой мир.

И не растолкуешь ему, не осадить, коль что в голову втемяшилось.

Вон, знай себе бредет прочь, пылит.

Скрылся

Содержание

Глава	5
Зачин	6
1.Сказ про то, как Дурак в путь-дорогу собирался	21
Лист Ведающих: Упырь дикий	56
Лист Ведающих: Упырь-служба	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Тони Сарт

Дурак. Книга 1

Глава

Ходит дурачок по лесу,
Ищет дурачок глупей себя...

“Про дурачка”, Гражданская Оборона

Зачин

Люди молчали.

Все те, кто собрался этой ночью под крышей амбара сельского головы Куделада, не издавали ни звука. Замерли неподвижными истуканами, широким кругом обступив кривую, выдавшую виды лавку, заботливо принесенную сюда парой молодцов.

Внимали.

Застыли крепкие бородатые мужи, заложив большие пальцы за поясные верви, хмурились. В их глазах, давно подернувшихся пеленой безнадежности, нет-нет да и полыхали пожарища прошлого. Помнили, они еще многое помнили из того, что слышалось им сейчас в хриплом, давно сорванном голосе говорившего. Того, кто восседал нынче в самом центре амбара прямо на земляном полу, заваленном остатками прелой соломы, будто намеренно не обратив внимания на принесенное сиденье.

Старик.

Могло показаться, что был он такой древний, что неведомо, как все еще попирает дороги сего несчастного мира. Частая паутина морщин, изрезавших вдоль и поперек узкое, лобастое лицо сказителя, добавляла добрый десяток лет, а седые ломкие волосы, растерявшие уже всю силу, забранные

двумя косами по бокам на манер северных племен, лишь подчеркивали многие лета. Но то лишь на первый взгляд. Стоило чуть подольше задержаться, всмотреться в сказителя, и вот уже закрадывались мысли, что не так он и дряхл. Вон и желваки крепкие играют, и глаза темные глядят молодого, задорно, с вызовом. Да и в целом не кажется он рохлей. Годами никак не старше того же Куделада, а тот мужик еще ого-го! Телегу на горбу пронесет. А что мартовский грязный снег голову окрасил? Так то мы ж не ведаем, какие беды да горе на долю несчастного выпали. Чай, не от хорошей жизни подался в бродяги-вещуны.

Вон как бает, аж в груди щемит.

Многие лета прошли с тех времен переломных.
Многие, кто что-то помнил уж нежитью стали —
Плотью истлевшей блуждают меж мрачных курганов.
Нет им покоя отныне, вовек и не будет.

Сказ я вам молвлю, внимлите же добрые люди.
Притчу о том, как наш мир погрузился в пучину
Страх и боли. Как Лес, как приют для покойных,
Захлопнул проходы, отринув себя от живого.

Не стало дороги для тех, кто закончил путь в мире
В тот край, где ждала его Мара, даруя забвенье,
Не входи они в звенья предков, чтоб встать с ними рядом

И доброму люду опорю быть и подмогой.

И ходят теперь меж живых, кто землею не принят.
Их Пагуба злая толкает, безвольных, к насилью.
Алкают они плотью, кровью людской насладиться,
Хотя бы на миг ощутить радость жизни забытой...

Он пришел в урочище к вечеру будто из ниоткуда.
Сам.

Не приехал с попутным обозом, крепко защищенным ратниками. Не прибился к охранцам-наемникам или хотя бы охотнику-проводжатоу.

Один. Лишь в сопровождении шуплого, худого как жердь мальчонки годков осьми от роду, похожего на изможденного кузнечика. И впору было б хвататься за копыа дозорным у ворот, чтобы порадовать сулицей черного колдуна, потому как любой знает, что за пределами селений по дорогам свободно бродить может лишь нежить поганая да умруны проклятые. Да только замешкались, замялись храбрецы, а там, глядь, старик уже и по деревне идет, спутника своего подгоняет-поторапливает, вот уже и разговоры с бабьем у колодца ведет да поклоны прашурам-истуканам бьет. И будто свой, словно всегда тут обитался. Махнули рукой дозорники, поворчали для виду друг перед другом да и скатились обратно с вала ко рву доигрывать незаконченный круг в "хвата". Пусть его, блаженного.

Обереги, опять же, над воротами не затрепетали, не забрякали, Пагубу не почуяли, значит, нет в пришлое зла темного.

Так и бродил меж изб да овинов незнакомец. Вглядывался в людей, рассматривал. Плелся за ним и малец, озирался по сторонам тусклым усталым взглядом, порой шмыгая плоским носом. Выглядел мальчишка оборванцем таким, что даже старик, его спутник, обряженный в жуткие, выдавшие виды, грязные и измазанные невесть чем лохмотья, казался если не княжым наследком, то уж никак не меньше зажиточного купчишки. Из тряпья на мальце были лишь пара намоток на чресла, срам прикрыть, да черно-бурые от засохшей грязи онучи. Хотя к чему они были неведомо, потому как лаптей юнец не носил и был бос даже несмотря на холодную уже осень. Неужто вот так по стылым дорогам и брел, бедолага? Неужто старик не мог выторговать аль наклепнуть какую обувку?

И не было в мальчонке ничего приметного, если бы не тащил он с собой большую, чуть ли не с него ростом, промасленную тряпку, заботливо и тщательно перевязанную многими веревками. И так он крепко прижимал свою поклажу, так трепетно оберегал ее, что сразу было ясно – внутри спрятано самое ценное.

Когда стало смеркаться, и первые тусклые звезды рассыпались по темнеющему небу, старик и юнец незаметно куда-то пропали, да вновь так, что никто особо и не дернулся,

не потревожился. Мало ли куда бродяжки прибились. Пока из амбара головы Куделада не послышался тихий переливчатый наигрыш гуслей.

Теперь-то стало разом ясно, что прятал под тряпицей мальчишка.

И народ со всей деревни как-то сам собой потянулся к широким воротам подворья деревенского головы. Шли парни и девки, старики, бабы и дети. Тихо, без спешки и гомона. Входили, вставали кто где, располагаясь в потемках амбара по углам, слушали тихий, вкрадчивый звук перебора натянутых жил.

Мальчик играл, усевшись прямо на подстеленную давешнюю тряпку, укрывавшую его драгоценные гусли. Закрыв уставшие, с бессонными синяками, глаза, мягко водил узкими грязными пальцами над инструментом, и каждый взмах рождал чудо. Его измазанные руки, порхавшие взад-вперед, казались чем-то чужим, ненастоящим по сравнению с чистой поверхностью самогулов, испещренной вязью дивных узоров, но кого это теперь могло бы потревожить.

Мальчик играл.

Рядом замер старик.

Пара молодцев по указке кого-то из старших сбегали, принесли лавку из ближайшей избы. Заботливо поставили рядом, не решаясь потревожить, нарушить льющийся перебор, робко отошли, растворились в толпе.

Отрок, слегка приоткрыв глаза, лишь коротко глянул на

поднесенное сиденье и легко, почти незаметно, пересел. Его седовласый спутник же попросту плюхнулся на прежнее место мальчонки.

И заговорил.

Хриплый голос его, напевный и низкий, влился как ручеек в тихий поток мелодии гуслей, стал набирать силу, полниться.

И вот уже под сводами амбара бушевал бурный поток сказания.

Горе одно не приходит, беда любит свору.

Голову вновь поднимать стало черное племя –

Те, кто для Пагубы зло совершать были рады,

Кто ведогонь свой сменял на богатство и силу.

Воют ветра над погостами, что разорили.

Мертвые войском встают волей подвижны черной.

Люд и зверье покидают родные пределы –

Место теперь там оплотам нечистым – Кошунствам.

С гибельной целью единой приходят в те стены

Пастыри мертвых, что здесь Умрунами зовутся,

Пагубыри златочахи, Ератники-воины.

Все как один обитаются в пагубных землях.

Распри князей...

Молчат крепкие юноши. Слушают.

Для них песнь старика не сказка, не байка, а жизнь. Иной и не знавали. С молодых ногтей приучали отцы да деды не только к плугу и косе, но и к колу заостренному да кистеню верному, потому как верно пел седовласый, ох верно. По всем краям нет покоя мертвым, и каждый, кто усоп, может вернуться к себе в дом, дабы загрызть родных. Потому и сносят тела сразу подальше в лес, будто силясь старые обряды воскресить, да только тщетно все. Старшие говорили, что всякое пробовали супротив свежего покойника, уж и жгли, и рубили в куски и зверю дикому на съедение отдавали. Жутко ль видеть, как твоего родича, с кем ты с неделю назад на речку бегал, нынче мясницким тесаком разделявают? Да, жутко. Да только все лучше, чем потом он и тебя, и всех твоих братьев да сестер порвет. И ведь рвали, и не раз. А потому лучше покривиться, да исполнить. Пробовали, но не помогало. Все одно восставала нежить. Уж неведомо, от силы ли Пагубы или от чего еще. Уяснили с годами люди, что единственный верный способ – снести свежего мертвяка в ельник дальний да и пущай там бродит. Огородились частоколами да рвами глубокими от мира родного, что родным быть перестал.

Порой старшие баяли, что когда-то на Руси было так благостно, что любой мог и днем, и ночью по тропе-дороге идти, куда глаза глядят, и ничего б ему не было, коль в ладу с ми-

ром был бы. А еще говорили, что все меж собой так дружно да добро жили, что прийти можно было в любое урочище да там и остаться, что нечисть дикая, от которой нынче спасу нет ни в поле, ни в чаще, раньше все больше добрая была да до помощи людям охочая. Что не роща, то с попутником, что не полюшко, то с берегиней.

Брехали, небось.

Где ж то видано, чтобы вот так взять да сунуться за ворота и пойти, куда глаза глядят. Без витязей или дозора нос совать за частокол дело гиблое, не то что из края в край бродить. Или нежить, или нечисть сгубит враз.

Молчали юноши, стискивали крепко кулаки, топорщили гневно еще жидкие усы да бороды.

Старик продолжал.

Распри князей земли предков терзают нещадно.

Рвут, словно псы злые кость, друг у друга наделы.

Тяжесть венцов на челе затмевает рассудка призывы,

Что правдой зовется теперь, то давно стало кривдой.

Те, кто поставлен был предками весть род к величю

Вмиг позабыли заветы. Как будто слепые

Быются они головами в гордыне спесивой

Словно бараны, сшибаясь на узкой дороге.

И недосуг межеумкам в роскошных палатах,

Ведать, что древние твари вернуться решили.
В самых глубоких темницах томились до срока –
Треснули стены, рассыпались прахом оковы.

То, что грядет...

Всхлипывают тихо бабы, утирают, не таясь, передниками слезы на щеках. Нелегка женская доля, хоть и трижды почетна. Немало довелось унести за частокол родных да близких и нет на душе покоя, потому как знаешь ты, что не найдут забвения усопшие, не возьмет их под руку теперь Яга, не уведет в Лес под крыло заботливой Маре. Не пополнятся ряды предков, не укрепится защита рода. Оттого, может, и чахнут, гниют истуканы пращуров в деревнях да острогах, оттого все реже молодые кланяются в избах в углы чуров да почитают обряды. Оно и понятно, они-то и не видывали заботы пращуров, не знавали действенности ритуала, не ощущали помощи от кружения домовый нечисти. Нет, сейчас, конечно, слад можно найти и с овинником, и с хлевником, да и кикимора-матушка нет-нет да и поможет, пособит, да только чувствуется, что год от года все меньше небыльники к людям тянутся, все больше запираются. И это ведь та нечисть, что испокон веку рядом, что пращурами ставлена да наставлена, а про тех, что за оградой, то и говорить не приходится. Даже полевички уж давно и пальцем не шевельнут, коль посреди покоса камень косу зазубрит. А уж полудницу встре-

тить, так верная смерть.

И ведь казалось, уж без малого два десятка лет прошло с той беды великой, когда все устои порушились, пора бы обвыкнуть, смириться, а все же порой рука сама тянется погладить запечный идолок на лад в доме или пробормотать добрый шепоток в спину на путь-дорогу. Да что говорить, до сих пор так и делают. Потому как... а вдруг поможет.

Ох, бабья доля. Нелегкая.

Каждый в амбаре думал о своем. Слова старика-вещуна, единственно верные, меткие, без промаха били в цель, находили брешь в обороне слушателей, проникали в самое нутро, вонзались в сердце.

И только дети, притихшие до поры от испуга да какой-то непонятной важности момента, еле слышно копошились. Им то что, отстоять странную забаву взрослых да нестись по домам. Завтра с первыми петухами вскакивать, дел полна котомка, а еще и поозоровать надо да хворостиной получить успеть.

Дети они в любую пору дети.

Кто-то сбегал и запалил несколько лучин и, о чудо, голова Куделад, известный ворчун и огнестрашец, не сказал ни слова, не разревелся голодным медведем, что сарай спалят и вообще, что за сборище тут устроили. Нет, промолчал. Лишь кивнул коротко, ладно, мол. И тени людей, неправдоподобно длинные, ломанные, заплясали по темным стенам амбара. Ка-

залось, что немой хоровод гигантов-волотов зашелся вкруг, повинуюсь дрожанию огоньков. И вторили этому танцу перелив гуслей и хриплый голос старика, создавая ощущение жуткого, страшного обряда.

Мальчишка стал дергать струны резче, сильнее. В мелодии появился надлом. Гусли то заливались смехом безумца, то рыдали печальной девицей. Жилы резали пальцы отрока, но он не замечал этого, раз за разом щипля, дергая, врезаясь в них. Старик же уже давно закатил глаза и вещал, раскачиваясь в такт своему голосу. Он то хрипел, то разрождался трубным басом, раскатистым, словно далекий гром.

И люди внимали.

То, что грядет, не запишут ни черты, ни резы –
Скрыто грядущее в дымке несбыточной дали.
Но помни бывшее, как предали мир лиходеи:
Встретишь очельника – сталью пронзи негодяя!

В сговор вступили двенадцать лжецов с одноглазой,
Сбили с пути ее, благо для мира сулили.
Лихо доверилась, чада ж двенадцать забрали
Во тьме их взрастили, тайно учили дурному.

Верили люди – очельник подмога и правда.
Но как пригрета змея на груди, так предали
Мир ведуны. Одноглазой запомни посланье:

Встретишь очельника – сталью пронзи негодая!

Расходились неспешно, чинно.

Будто после тяжелого, но хорошего труда. На душе каждого селянина в этот поздний час было отчего-то тихо и покойно. Нечастые гости в урочищах сказители да гусяры, давно не странствует подобный люд по дорогам – ратный обоз с собой вряд ли возьмет, а торговцам платить накладно. Но не в редкой радости досуга было дело, а будто тронули мальчишка и старик что-то внутри каждого. Где надо успокоили, а где и растревожили то, что гнило, вытащили наружу.

Люди шли теперь по темным улочкам к своим подворьям, редко и тихо переговариваясь и, несмотря на уже кромешную ночь, не сильно-то спеша. Даже собаки, обычно верно отрабатывающие свою кость, а потому брешущие с вечера на каждого припоздавшего прохожего, затихли. Чували своим песьим чутьем, что негоже сейчас лаем воздух сотрясать.

Бродягам щедро отложили хлебов, поднесли завернутый в платок горшочек, еще исходящий паром, да добрую крынку сливок. Даже голова, прижимистый дядька, а все же оторвал от сердца отщип серебра. Махонький, но на долгую дорогу хватит. Может, мальцу лаптями разживутся, а то со дня на день распутица.

В благодарность за потеху их оставили ночевать прямо здесь, в амбаре, но как только последний селянин покинул нежданное обиталище, оба засобирались. Отрок деловито и

сноровисто закутывал гусли в тряпицу и перетягивал веревки. Старик же складывал свежие гостинцы в небольшую драгую котомку, что-то ворча себе под нос. Загляни какой зевака сейчас в амбар, то непременно посчитал бы незнакомцев безумцами, коль решили собираться прочь из селения да еще и в ночь. Туда, за частокол, где куда ни шагни, на мертвяка нарвешься. Поднял бы шум зевака, заверещал. Да только не было посторонних глаз рядом.

– Очень, очень замечательное сказание, – раздался голос из дальнего угла амбара. Был он тихий, вкрадчивый, но при этом таящий в себе нечто опасное. Как змея в траве.

Мальчонка от неожиданности вздрогнул и чуть было не выронил свои замечательные гусли, перепугался еще больше и в страхе прижал их к себе так, что где-то под тряпицей жалобно загудели жилы струн. Старик же не дернулся, даже не замер, продолжая укладывать пожитки. Он не глянул в ту сторону, откуда раздался голос, словно и не интересовало его вовсе, кто это решил задержаться в амбаре. Лишь скупобросил сорванным голосом:

– Благодарю, боярыня. Нашего с Кривом собственного сочинительства.

Он кивнул в сторону мальчонки и тут же пришикнул на него. Чего, мол, застыл напуганным кроликом.

– Это просто чудесно! – подхватил голос с таким воодушевлением, будто ничего в своей жизни более прекрасного не слыхивал. Спустия миг из темного угла шагнула высокая

статная женщина. Была она не то, чтобы громадна, но ростом могла бы поспорить с самым высоким мужчиной деревни, если не с княжьем витязем, куда, как известно, брали только богатырской стати. Одета была ночная гостья просто, но богато. По серебряным височным кольцам, по искусно вышитому узорами да оберегами сарафану цвета мокрого сена, по роскошной двурогой кике¹ никак нельзя было ожидать встретить такую особу в деревенском амбаре. Пусть даже и головы. Недалек был от истины старик, назвав незнакомку боярыней. Не из высоких, конечно, но при чине.

Мальчик, невольно спрятавшись за спину своего спутника, с испугом глянул на улыбчивое, сильно наруганное не по времени лицо женщины и на миг ему показалось, что вместо одного глаза проступило страшное бельмо. Отрок в ужасе весь сжался, зажмурился, часто-часто плюя себе через плечо и крутя свободным кулаком шиш, но тут же получил увесистую затрещину. Рука старика, все еще крепкая, быстро вразумила мальчика, и тот открыл глаза. На него смотрело обычное лицо гостьи, не очень молодое, не очень красивое. Обычное. В голубовато-серых глазах читалась забота и легкая тревога – испугался, бедный мальчик? Узкие губы ее расплылись в широкой улыбке, от которой теперь даже вещь стало не по себе.

– Это просто чудесно, – повторила боярыня и глянула теперь в упор на старика. – Вы ее рассказывайте почаще. Люди

¹ Кика – женский головной убор.

должны помнить!

Она вдруг ойкнула, полезла за поясок и выудила оттуда монетку, глянув на которую старик и малец ахнули. В руках женщина вертела полновесный серебрянник. Да за такое богатство можно было взять если не военного коня, то уж телегу с клячей точно. Миг, и блестящий кругляш оказался на ладони у седовласого, после чего был бережно прижат его же пальцами.

— Это вам в добрый путь, — с какой-то жуткой нежностью промурлыкала гостья. — Очень, очень замечательное сказание.

Она улыбнулась еще шире, так, что уголки рта чуть ли не разъехались за височные кольца, и быстро вышла из амбара легкой походкой.

— Благодарю... хозяйка! — только и успел крикнуть в темноту старик и еще долго крутил в пальцах дорогой подарок.

Мальчик же, словно и не было ему никакого дела до свалившегося внезапно богатства, стоял, прижимая к себе гусли и глядя на заваленный жухлым сеном пол и прислушиваясь к себе. Казалось, будто теперь внутри него что-то ворочается. Нехорошее, недоброе.

Мотнул головой, отгоняя дурнину.

Пора было в путь.

Он давно привык к тому, что нежить никогда не трогала его и старика в дороге.

1.Сказ про то, как Дурак в путь-дорогу собирался

– Чтоб вас!

Юноша кубарем вывалился из сеней, спиной выбив массивную, дивно украшенную резьбой дверь. Замечательную, надо заметить, дверь. Богатую, крепкую. Сразу видно, что пошли на нее лучшие дубы с округи, а мастера не одну седмицу провели, выдалбливая чудные узоры в виде сказочных сюжетов да былин. Загляденье одно. А с ней вот так! Дверь жалобно загудела от молодецкой удали и обиженно распахнулась настежь, давая дорогу юноше, и тот, невнятно бранясь, съехал по ступеням вниз. Прямиком в жидкую еще осеннюю грязь.

Кряхтя и не переставая сквернословить ни на миг, парень долго поднимался из липкой холодной жижи. Перемазался он окончательно, чуть ли не по загривок, испачкав донельзя щегольские порты широкого кроя и длинную, когда-то алую рубаху. Про меховую душегрейку и говорить было нечего – шерсть на ней тут же свалялась, слиплась в черные комья и, быстро подсыхая, превратилась в вислые сосульки, отчего молодец стал походить на унылого ежа.

– Мурмолку²верните взад, брыдлы³! – все же встав на ноги, крикнул молодчик куда-то в черноту провала сеней.

Почти сразу требование его было исполнено – наружу темной птицей выпорхнуло нечто, взметнулось к небу меховыми крыльями да не сдюжило. Призвала неведому птицу земля-матушка, и плюхнулась она вниз грузом тяжким. Прямым в ту самую жижу под ногами молодца.

– Чтоб вас! – зло повторил тот, поднимая из грязи то, что некогда было его шапкой.

Вокруг юноши, привлеченная шумом, стала собираться дворня. Хихикали девки-пряхи, высунув носы из узких оконцев женских покоев. Зубоскалил от коновязи рябой мальчишка-пастух, то и дело ковыряя в носу большим пальцем. Гоготали стражники у ворот, бряцая от смеха доспехами и кольчугами. Даже хмыкнул из тени амбара бородатый конюх, хоть и был славен по всему Опашь-острогу своим бесстрашием. А там уж с улицы стали заглядывать зеваки и вездесущая малышня, улюлюкать да свистеть принялись.

Еще бы, ведь не каждый день творится потеха на подворье у князя Осмомысла...

Хотя, между нами, князем-то зажиточный наказной воевода, награвивший себе богатство за последнюю дюжину лет на землях добрых соседей, сам себя величать стал. Венец заказал златой, с камнями, да только... как был Опашь

² Мурмолка – мужской головной убор. Колпак, обшитый мехом изнутри.

³ Брыдло – гадкий, вонючка (руг.).

острогом внутренних земель Руси, так и остался, вот и князь выходил самозванный. Навроде тех атаманов лесных, что себе чины да рода древние сочиняют, стяги цветастые рисуют, а на деле разбойники как разбойники. Но про то тс-с-с, шепотом и только по глубокому доверию. Кому ж охота в петле болтаться аль с перерезанными сухожилиями рабом с ближайшим обозом к Ржавым Степям уехать.

Лучше уж от ворот погогочем над непутевым дураком, которого, видать, из хором погнали. Отсюда и веселее, и безопаснее.

Молодец между тем, еще больше раздосадованный вниманием людей, уже горланил на весь двор, то и дело размахивая кулаком в сторону терема воеводы:

– Зря обидел ты меня, Осмомысл, зря погнал, когда добром я к тебе пришел. Понапрасну насмеялся зло надо мной и слов моих на веру не принял. Говорю тебе я, Отромунд, сын купца Вала, что будет дочь твоя старшая, Избава, моей!

Затихать вдруг стал двор, смолкли хиханьки. Попрятались улыбки, устремились глаза веселые в землю раскисшую. Потому как в дверном проеме, том самом, откуда совсем недавно вылетел юноша, показался крепкий статный мужик. Был он одет богато, но без излишества, в голубом кафтане дорогой ткани, темных портках да сапогах на меху. На хмурым лице его, разъетом и широком, застыли льдистые светлые глазки, недобро щурясь на стоявшего у ступеней парня. Шагнув наружу, крепыш огладил широкой ладонью бурую,

едва тронутую сединой бороду и отстранился вправо, пропуская следом... себя же.

Вышел второй, ступил влево.

То же насупленное лицо, те же злые глазки, те же одежды. Даже шрамы на лбу и виске, казалось, были одинаковые. И могло бы показаться кому, что морок то или какая волшба недобрая, если бы не знала вся округа двух однобрюшников⁴, самых верных наперсников⁵ князя. На много верст известны были братья Нравичи, скорые на расправу и лютые в ратном деле. И всякому было ведомо, что лишний раз лучше не попадать под взор двух пар холодных глаз, потому как одним прашурам было известно, что на уме у витязей двойников.

Однако ж, то ли сын купца был неимоверно храбр, то ли безумно глуп, но взгляда не отвел, смотрел в упор на замерших по обе стороны прохода бугаев.

Ждал.

И дождался.

Докричался, выходит.

Потому как ступил теперь на крыльцо сам князь Осмомысл, мужчина статный, явно битый походами и боями. Хоть и уступал он в росте своим верным охранцам, но исходило от владыки никак не меньше того чувства опасности, что ощущается всегда каким-то потаенным, данным от рождения чутьем. Властью разило от воеводы. Властью и смертью.

⁴ Однобрюшки – близнецы.

⁵ Наперсник – доверенное лицо, близкий подручный.

Презрительно глянув на перемазанного с ног до головы молодца, венценосец не спеша оправил домашнюю, расшитую мелким жемчугом опашницу⁶и, шумно втянув носом, смачно сплюнул. Прямиком юноше под ноги.

Дурной жест отозвался по притихшей толпе суеверным ропотом. Оно и понятно, на землю родную плюнуть то дело не благое, ни пращурам, ни нечисти не в угоду будет. Как бы беду не накликать. Да только погудели люди и замолкли. Славился сумасбродный Осмомысл и тем, что не указ ему были ни обычаи, ни уклады. Не признавал он ни лада с Небылью, ни чуров поддержку. Не раз на пирах бражных после очередного кровавого набега горланил он, что лишь на себя надобно надеяться человеку достойному, потому как сам он хозяин себе и доле своей и дорогу к славе сам прокладывает. Топором и огнем! И вторили шумно ему родичи дружинники.

Вновь тишина.

– Голоси, малец, – голос князя был ленивый, говор неспешный, тягучий. – Голоси, пока можешь. Слово мое верное, не ровня сын купца, сопляк, ни разу ратного подвига толком не изведавший, дочке княжеской.

– Подвига хочешь от меня, воевода? – оскалился юноша, и понятно было, что после такого обращения к владыке за голову молодца не дали бы во всем Опашь-остроге теперь и ломаной полтины. Понятно, в первую очередь, самому юнцу.

⁶ Опашница – короткая мантия свободного кроя из богатой ткани.

– Будет тебе подвиг. Да такой, какого сорок лет не видывал, не делывал никто!

Князь поджал губы, спрятав за усами звериный оскал. До поры проглотил смертельную обиду, разумно посчитав, что велеть прикончить молокососа прямо на дворе было бы даже для него слишком. В месть от нечисти за дурную смерть на пороге он давно не верил, потому как не единожды закрывали глаза небыльники на дурное. Ни когда он вырезал всю семью старосты Орлава прямо у капища предков посреди пылающего Уполя, ни когда насаживал рубленые головы всех родичей славного некогда витязя Переслава на частокол взятого Глума, ни многожды позже. Нет, не верил. Но все же лишнее роптание черни было ни к чему. Горд люд русский да волелюбив – передавишь, так не спасет ни дружина, ни кони быстрые, коль терпению предел настанет. А потому затаил до поры обиду князь, припрятал за пазуху. Провел с силой по залысине, венец поправил.

– Тебе ли, бобыня⁷, подвигами кичиться? За всю свою жизнешку жалкую, небось, кроме мертвяков безмозглых никого и не рубал. Да и тех уже добивал опосля других, а? – Князь гоготнул, но смешок вышел вымученным, ненастоящим. Даже крепыши-однобрюшки не поддержали, не хмыкнули. Так и стояли истуканами по обе стороны Осмомысла. Над подворьем повисло неловкое молчание, но тут в голову князя пришла чудная затея и как одним махом нахального

⁷ Бобыня – надутый, чванливый.

сопляка сгубить, и пред народом кровопийцей не выглядеть лишний раз. Прищурился хитро. – Коль удаль в себе почуял, то так и быть, бери дочу любимую, Избавушку...

По толпе на этот раз прокатился выдох изумления. Неужто князь не то, что обиду лютую стерпел, так еще и дитя родное решил отдать перемазанному в грязи нахалу? Да где ж то видано! Однако почти сразу Осмомысл добавил резко, на корню пресекая домыслы и пересуды:

– Как только принесешь мне меч заветный, кладом спря-
танный. Кладенец. – Выждал князь немного, оглядел собрав-
шихся. До всех ли дошло? Продолжил, про себя усмехнув-
шись. – Тот, что на пути своем преград не знает, не встре-
чает. Будет твой выкуп невесты, стало быть. Вот тогда и сва-
дебку сыграем. Пир на весь мир, весь Опашь гулять будет!

Сын купца шагнул вперед, топнул по ступеньке измызган-
ным сапогом, брызнув грязью. Глянул прямо в глаза стояв-
шему в проходе:

– Будет тебе Кладенец, воевода!

И второй раз смолчал Осмомысл. Лишь улыбнулся холо-
дно.

Толпа, которой собралось за время свары уже немало во-
круг подворья, радостно загудела, падкая на заклады да по-
зорища⁸. Еще бы, други мои, часто ли бьется спором сам
князь да на подвиг добра молодца отправляет? То-то же!
Дивному делу очевидцами будем. Что говорите? Погибель

⁸ Позорище (устар.) – зрелище.

то верная? За ворота как одному сунуться так смерть найдет, не то, что в дали неведомые топать да чудо чудное искать? А никто за язык не тянул. Сами видели, сами слышали.

— Быть посему! — неожиданно громко завопил князь, воздевая руки так, что домашняя опашница его жалобно затрещала на спине. — Вы, люд острожий, тому все порука, что я, славный владыка всех земель от Яри Перста и до Вялища, клянусь отдать Отромунду, сыну купеческому, дочку Избаву в тот же час, как принесет он мне в дар меч Кладенец. Без утайки то, все перед вами как на ладони!

И под одобрительный гул народа, которому лестно было, что сам князь его, люд простой, в свидетели взял, Осмомысл вдруг с нажимом добавил, обращаясь теперь прямым к молодцу:

— А чтобы не было в тебе сомнений, то срок тебе покинуть острог до заката. Коль промедлишь, то любой мой родич будет считать своим долгом прирезать тебя, как собаку. Потому как пустобрехством, бахвальством сватовста да трусостью осквернишь ты Избаву, и лишь кровь твоя поганая смоет оскорбление. Тому порукой пращуры, что незримо бдят за нами!

Теперь по толпе прокатилось с разных сторон:

— Ладно, ладно толкует князь.

— Чуров уважил, молодец. Неужто брехали про него дурное зазря?

— Все по укладу молвил!

– Как встарь, по заветам предков, да!

Смотрел на колышущийся, волнующийся кисель людской князь и прятал в усах довольную усмешку. Ладно все получалось. И народу осторожному угодил знатно, и щенка приколоть теперь можно по-тихому, без помех. Слова никто не скажет. А коль решится дурак идти на подвиг, так сгинет в ближайшем овраге. Туда ему и дорога.

Решив напомнить себе при случае наказать с оказией и купца Вала, чтобы впредь уму-разуму да почтению учил своих выкормышей, Осмомысл широким жестом махнул толпе и скрылся в глубине хором. Почти сразу следом нырнули-перекатились двумя валунами братья Нравичи в голубых кафтанах. Хлопнула, закрываясь, тяжелая дверь, оскалилась на двор резными чудищами.

Народ потихоньку стал разбредаться по своим делам, бурно обсуждая свежее событие. Разошлась дворян, занявшись вновь каждый своим. Заскучали у ворот стражники, изредка прикрикивая на доставучую детвору. Стоял молодец у порога, так и не убрав грязный сапог со ступени.

Смотрел на запертую дверь.

Нет, чуть выше и правее. В резное небольшое оконце почти под самой крышей. Туда, где, казалось мелькнуло на миг девичье личико.

Ее личико.

Стиснув зубы так, что аж противно скрежетнуло во рту, юноша шепнул еле слышно:

– Принесу!

И, с силой стукнув кулаком о собственную ладонь, быстро пошел прочь с княжьего подворья. Шествовал он так гордо и уверенно, что даже грязь и подсохшая жижа теперь смотрелись на нем темной броней.

Ни дать, ни взять, богатырь!

Отсюда

Молва людская быстрее стрелы, а потому не перевалило еще стылое осеннее солнце за две трети дня, как уж не только Опашь-острог, но и все окрестные селения, жмущиеся низкими избушками к самому частоколу, знали про заклад между князем и купеческим сынком. Кто-то всерьез рассуждал, что, дескать, пойдет юнец в поход, потому как выбора ему не оставили. Точнее, выбор-то как раз был, да не великий и не завидный — либо от нежити лютой в диких лесах, либо от вострого ножа кого-то из родичей Осмомысла гибель найти. Вот и думай, как лучше дни свои окончить. Иные же лишь махали рукой да усмехались, пустое мол. Всяк в остроге знал Отромунда, старшего сынишку купца Вала, а кто не знал, тот слыхивал. Такого остолопа поискать надо было, потому как детинушка, вымахавший не по годам, будто притягивал к себе беду. Невезуч был сызмальства так, что не стукнуло ему годков и пяти, а с ним из ребятни никто ни на реку рыбу удить не шел, ни в играх не водился. Потому как при нем

или лесу оборвешь, или свинью соседскую камнем пришибешь ненароком. Нет уж, лучше стороной. Так и рос бобылем. Тятя-то, конечно, старался по мере сил чаду помочь, в разное дело пристраивал, да только быстро оставил он эти потуги. Себе дороже. То у кожемяки избу чуть не спалит, то у конюха все сено перелопатит так, что погниет оно за ночь, то на верфях обопрется о ладью недостроенную криво, что она со стропил и скатится. Не ладились у юноши ремесла. И ведь без злого умысла случалось, добрым был парень, душевным, а вот нате. Словно недоля в темечко поцеловала. Впрочем, ратное дело кое-как давалось юнцу. Неплохо и копьем владел, и кистенем, да опять же — слухи да пересуды не топор, щитом не укроешься, а потому не брали молодца ни в дружину, ни в ушкуйники. Кому ж охота в бою под боком беду иметь.

Что уж говорить, что купец в семейное дело сына наотрез допускать отказался. По миру ж пустит, а так... пусть его бегаёт, резвится. Авось найдет себя.

И теперь многие полагали, что нашел, дурачок.
Доозоровал.

Молодец бодро вышагивал по кривым улочкам Опашь-острога, нисколько не обращая внимания ни на шепотки в спину, ни на дразнилки мальчишек-задир. И если к последним он давно привык, злы дети нещадно, то пересуды были ему в новинку. Пару раз он даже краем глаза замечал, как вслед ему сердобольные бабы чертят пальцами напутку-обе-

рег. Ну да пусть их, наседок, лишь бы не причитали.

Пропетляв порядком мимо торговых рядов и свернув за домом старого бочкаря Евжи к нижнему частоколу, юноша почти сбежал по покатой широкой дороге. Отсюда уже было рукой подать до южных ворот, ведущих к окраинам и дальше, к реке. Знакомые с босоногого детства тропки и переулки послушно ложились под ноги, подсказывая короткие пути, неприметные лазы между заборами и скрытники возле кустов. Кажется, что в остроге, откуда за всю свою жизнь юноша ни разу не выбирался дальше дальних пашен, ничего никогда не менялось. Нет, конечно, строились новые хоромы и палаты, сгорали или рушились старые, перекраивались на новый лад улицы, возводились от нежити новые частоколы и даже, по указу воеводы, с севера начали ладить дивную стену каменной кладки, но все это сразу становилось каким-то родным, своим, привычным. Будто было здесь всегда. Словно родич, которого ты видишь изо дня в день — не стареет, не меняется, оставаясь всегда одинаковым. Но стоит только расстаться на неделю...

Недобрые думы терзали Отра, пока он пробирался между развалом сушеной рыбы и застрявшей в грязи телегой корчмаря Елдыги. Только теперь начал понимать он, что придется расстаться ему впервые с привычными стенами, с домом, с тятей, с братьями и сестрами. Пусть и сторонились они непутевого своего родича, но все же кровь не водица. Нет, юноша не боялся предстоящей дороги или грядущих трудностей,

ему вообще редко был ведом страх, но тревожило его то, каким изменившимся встретит его острог.

В том, что он вернется, молодец не сомневался ни мгновения.

Повернув мимо широкого, порядком покосившегося свинарника, сын купца вынырнул вновь на выходную, всю в деревянном настиле, дорогу и, приветливо помахав стражникам на дозорной башне, пробежал через ворота.

В ответ ему показали непристойный жест с заломом локтя, но это уже мало интересовало парня. Он вовсю бежал меж кривых, низких лачуг, туда, где у самой воды среди высокого камыша доживала свой век древняя чахлая избушка.

Дом дядьки [9].

— Нет, ну каков змей! — негодовал юноша, уже битый час меряя шагами небольшую полянку прямо у ворот в лачугу. Гневу его не было предела, и он из раза в раз пересказывал недавнюю свару с князем.

Дядька, кряжистый невысокий мужик в старом, выдавшем виды зипуне, поверх которого всегда была натянута не менее древняя кольчужка, давняя блажь, восседал на завалинке, лениво поводя взглядом за метаниями молодца. По всему его виду можно было сказать, что очередная выходка Отера его ничуть не удивляла, да и в целом излучал он такую отрешенность от мирского, будто не было дела ни до чего в мире. Явись под стены острога орды псоглавцев во главе с нойоном Турмегбеем, ужасом Ржавых Степей, то лишь хмыкнул бы

дядька и по привычке закусил длинный ус. Всенепременно правый.

Вот и сейчас мужик лишь отрешенно кивал после очередной волны ярости, что извергал юноша, и продолжал строгать охотничьим ножом деревянную фигурку. Любил это дело дядька, и купеческий сын не мог припомнить таких моментов, когда не возился бы его пестун с какой коряжкой.

— Нет, ну ты-то сам понимаешь, дядь, что кругом не прав гад подколодный этот! — потрясал кулаками парень. Был он сейчас грозен, хоть и выглядел словно заспавшийся в канаве с попойки бражник. Грязь, давно высохшая и местами потрескавшаяся, теперь покрывала его коркой почти целиком, а про загубленную душегрейку и говорить было нечего. Тятя, небось, наругает. Но это мало заботило юношу, потому как для него единственно важным была сейчас зазноба-княжна да нависший над головой заклад.

— Это да, — буркнул низким хриплым голосом дядька, пожевав ус. И парень махнул рукой, зная, что не сможет вытянуть из того больше ни слова. Да и чего тут говорить.

К Избаве парень прикипел с полгода назад, по весне. И ведь раньше не было ему дела особо до девиц аль гуляний, когда молодняк, дурной, словно лоси в гоне, ломится на любое празднество, лишь бы улизнуть от докучливых нянек и повседневных забот, а вот пришло, видать, время. Вспорел [10]. Княжна, которую помнили в родных краях лишь малюткой, на несколько лет была отправлена Осмомыслом в

стольный Гавран-град. Тамошний владыка, любитель заморских таинств и наук, привечал множество мудрецов со всех концов света, а потому князь сторговался за немалую долю пушнины пристроить к палатам и дочурку. Мол, пускай ума набирается. Вот девчушка и постигала, а аккуратно после прошлой зимы вернулась в родные чертоги. Да какой красой. Всем пригожа, всем мила: лицом румяна, косою черною разве что не пол метет, стать лебяжья, а глазищи серые... В них-то юнец и утонул, стоило лишь раз встретиться с ними на скоморошьях забавах, что затеяли как-то на соборной площади. С тех пор и вбил себе в голову — будет моей! И нельзя сказать, чтобы княжна не отвечала молодцу взаимностью, нет-нет да и улыбнется мимоходом или хихикнет в ладошку девичью, игриво подмигнув, но не более. Строг был суровый Осмомысл, крепко следили за девицей многочисленные мамки. А парень изнывал. Все лето пробродил шатуном во-круг хором воеводы, и так и этак норовил подступиться, да все без толку. А тут вот решился, видать. Пошел свататься.

Пришел, выходит.

Дядька еще раз хмыкнул и мотнул длинными, по плечи, волосами, такими спутанными, будто и не знали они никогда гребня. Бирюк бирюком. К нему такому, хмурому, нелюдимому, молчаливому и привык сызмальства парень. Сколько себя помнил, сколько еще мальцом бегал сюда, на окраину, встречал его мужик кивком еле заметным, выйдя из лачуги, садился на завалинку любимую и давай строгать да слушать

рассказы молодца. То про беды его горькие, то про очередную кручину великую, то как тятя с досады по седалищу хвостистой отходил... Наверное, дядька был единственным, кто никогда не смеялся над юношей, никогда не попрекал за оплошность сотворенную. Так, разводил лишь руками, бьёт, мол.

Хорошо было Отеру здесь, спокойно. Будто на лад пришла жизнь.

Выдохшись, юноша присел на завалинку и стянул с себя заскорузлую душегрейку и рубаху. Поежился от осенней стылости, с силой потер ладони. Гнев в нем вдруг разом сменился совсем детской растерянностью.

— С тятей что будет? — негромко сказал он, глядя себе под ноги. — Как бы псы шелудивые воеводы чего не сотворили.

Дядька молчал. Он даже не глянул на юношу, лишь пожал плечами. И показалось парню в этом несуразном, скупом жесте столько поддержки, сколько не вложить ни в одни самые красноречивые слова.

— Ты прав, — собравшись, твердо сказал Отромунд, сведя сурово брови к переносице и устремив взгляд куда-то к реке, за камыши. — Убоится полозов выкормыш подлость такую совершить, потому как не поймет народ Опашский самодурства. И прибудков своих не отправит на черное дело.

Юноша поднял очи к пасмурному тяжелому небу.

— Вечереет, — слегка отрешенно сказал он и добавил чуть погодя: — пора.

Хлопнул ладонями по грязным коленям, собираясь с духом.

Только теперь мужик оторвался от своего занятия и, как был сутулый, повернул голову, глянул на парня. Долго смотрел. И пускай лицо его, почти всегда недвижимое, грубое, не выражало ничего, но в самой глубине глаз тлел теплый огонек ласки и такой привязанности к юнцу, какая может быть лишь у человека, что был рядом с самых первых робких шажков. А может и раньше. И коль окажись возле хижины те, кто крепко знавал дядьку, то без доли сомнения угадал бы в нем почти отеческую любовь к купеческому сыну. Но давно уж не топтали родную землю никто из тех, кто водил знакомство с этим хмурым человеком. Разве что нежитью неприкаянной где бродили, кто ж его ведает.

Долго смотрел дядька на юношу. То ли запомнить старался, то ли для себя вдруг что-то новое в нем разглядел. Да нет, вроде все по-прежнему — вот сидит рядом, оглобля. Перемазанный, как порось, в одних портках да сапогах. С головой непокрытой. Небось, шапку где-то уже потерял, колоброд. Волосы русые всклокочены, торчат в разные стороны копной разворошенного сена, уши топорщатся смешно в стороны, нос широкий репой. На лице, как водится, легкая растерянность, будто и не здесь он. И вроде говорит, в глаза тебе смотрит, а нет-нет да и поймает себя на мысли, что не весь он с тобой, не целиком. В каких далях блуждает? Неведомо. И всегда оттого чуть оттопырена верхняя губа, над которой

уже пробился порядком молодой пушок. Такой же, что обрамлял уж год как всю челюсть и гордо именовался самим Отромундом бородой. Крепкий парень, всем ладный, только вот михрютка [11]. Да и пустомеля тот еще. Попался на уловку хитрого Осмомысла, наболтал лишнего. Что теперь прикажете делать?

Словно почуяв на себе пристальный тяжелый взгляд, юноша повернулся к дядьке. Долго смотрел глаза в глаза, и сказал:

– Знаю, что наворотил дел. Не кори! Но... любя мне Избавка, мочи нет. Пойми, одна мне теперь дорога. — И, словно ухнув в омут, выпалил: — Пойдешь со мной?

– А то, — коротко буркнул дядька и тут же вернулся к своей поделке.

Чирк, чирк ножичком по дереву.

Ладно выходит.

– Оружием каким разжиться надобно, — явно смущенный от случайной подмоги, пробормотал растерянно парень и стал озираться по сторонам, словно надеясь в ближайших темных зарослях камыша высмотреть годный меч или копье. — Не с голыми же руками в путь дальний идти.

Дядька хмыкнул, как показалось Отеру одобрительно, и коротко кивнул в сторону хижины. Погляди, мол, может что внутри сыщется. И тот, вскочив, нырнул вглубь лачуги. Рубаху свою, когда-то красную, он походя уронил на землю. Разиня! Ну да ей все одно хуже уже не будет.

Князь Осмомысл восседал на троне.

Прошло уже несколько часов, как он выпроводил всех из залы, включая даже верных братьев Нравичей, и остался в уединении. Челядь, что боялась потревожить великие думы владыки, не решилась войти, дабы запалить лучины, а потому сидел теперь князь в тягучем, густом полумраке. Крохотные оконца, забранные частой решеткой, и в солнечные дни то не пропускали в палаты вдосталь света, что уж говорить о теперешнем вечернем осеннем часе. Так, лишь робкие серые лучи, что силились нарисовать клетчатые сети на дощатых полах, застеленных заморскими паласами. Старались, да только растворялись в давящих сумерках.

Где-то за стенами слышалась возня палатных людей, суетящихся перед вечерей. Еле различимый грохот горшков, топот множества ног, приглушенные голоса.

Отчего-то все это раздражало Осмомысла.

«Старею, – подумал он отрешенно. — Стал брюзжать».

Князь поднял перед лицом ладони, крепкие, широкие, и несколько раз с силой сжал и разжал кулаки. Будто проверял с тревогой, не ушла ли сила.

Хоть был он и не молод, но еще пребывал в той славной поре мужской крепости, когда и топор не в тягость, и младшая жена не мимо ложа. Но при этом старший сын уже был во взрослых летах, не раз участвовал и в набегах на непокорные селения окрест, и в вылазках супротив черных сил

поганных да нежити, что изводят края родные.

При мысли о последних князь еле слышно застонал. За что, за что прогневались на нас предки, за что дозволили лиходеям-извергам мир на части расколоть? За какие провинности? Расплодились приспешники Пагубы, распоясались, многие лета донимают добрых людей, извести норовят. И нет полчищам нежити конца-края, потому как умирают живые, а идти им некуда более. Закрыт Лес. Намертво. Хоть и ошестинились грады да остроги частоколами высокими, да только ж сколько можно так прожить, в вечной сваре, в вечной битве. И не видно этому предела.

Да, помнил князь еще те времена, когда ладно было на землях русских, когда светло было и радостно под голубым небосводом, а на дорогах можно было повстречать разве что душегубцев. Где ж вы теперь, жадные до поживы лесные разбойнички? Будто наяву вставали перед взором Осмомысла сияющие города, зеленые леса, золотистые поля да бурные реки и лад, лад кругом. Между Былью и Небылью. И улыбались ему люди из прошлого, махали приветственно руками, звали туда, где было все как прежде, по-старому. И он, молодой еще ратник при дружине князя Ехперя, вчерашний мальчишка, бежал через рожь. Мчался, не замечая тяжести кольчуги, не поправляя сползающего на лоб шелома, еще отцовского, не закидывая назад путающийся в ногах колчан. Несся, несся вперед, окрыленный, счастливый, навстречу зовущим людям. Но чем ближе становился он к ним, тем луч-

ше мог разглядеть, как на лицах их стирались улыбки, как прокладывали себе дорогу глубокие морщины над переносицами, как ползли вниз уголки губ. Все они, други прошлого, смотрели мрачно куда-то вдаль, за спину молодому Осмомыслу. Он остановился в растерянности. Внутри стремительно таяло весенним снегом счастье.

Он не выдержал, оглянулся.

Вдали, среди золотого, нет, теперь уже ржавого, противно рыжего поля замер человек в черных одеждах. Будущий князь не мог разглядеть его лица, но даже отсюда он сразу увидел угольную полоску, перечеркнувшую лоб незнакомца.

Очелье ведуна!

С хриплым рыком Осмомысл вскинул будто бы сам прыгнувший в руку тугой лук, легла привычно под пальцы верная стрела.

Ушла в полет.

Прямехонько между пасмурным багряным небом и ржавчиной поля.

В грудь черному человеку.

Вскинул руку таинственный ведун, и разнесся над бескрайней рожью смех, наглый, глумливый. Стал заполнять собой все, погребать, ломать. Рванулся обратно к друзьям молодой витязь Осмомысл, спасти, уберечь, да только не было более никого. Лишь до самого горизонта страшное колышущееся поле.

И смех.

Князь рывком вернулся в сумрак палат.

Неужто задремал, разморенный вечерними потемками.

«Старею», — еще раз подумал владыка и обхватил крепко резные костяные подлокотники трона. Сжал.

Краем уха князь вдруг уловил, что в общий приглушенный гомон вплелись новые, чуждые звуки. Частые, drobные, спешащие. Будто топот каблучков дорогих сапожек по доскам.

И не успел князь Опашь-острога ничего толком сообразить, как створчатые двери соборной залы с силой распахнулись, и внутрь влетела сама птица Обида. Заносилась, закружила по покоям, взмахивая черными длинными крыльями-рукавами, зазвенела ожерельями да лунницами, заиграла в сумраке разноцветными камнями кокошника, заголосила гневно высоким, звенящим голосом:

— Ты чего это удумал? Не смей, слышишь, не смей чинить вреда людям добрым!

— И я рад тебя видеть, лапа, — устало улыбнулся князь.

Только одному человеку на всей Руси, а может быть и за ее пределами, позволял ярый Осмомысл позволял повышать на себя голос и говорить с таким вызовом. Любимой старшей дочке, Избаве. В ней одной не чаял он души, позволяя вертеть собой как вздумается. То ли оттого, что норовом на него самого похожа была, то ли потому, что как отражение была матерью, напоминала о ней, словно зеркальце, что в прошлое глянуть позволяет. При родах умерла жена первая, любимая,

оставив вместо себя маленькую агукающую жизнь, а сама ушла...

Князь хотел было додумать, мол, в Лес ушла, да одернул себя. Помрачнел. Потому как явилась лапушка Избавушка в этот мир тогда, когда и мира-то уже не было. И долго стоял молодой князь возле полыхающего жаром погребального костра, сжигающего бrenную плоть супруги и больше горя борясь внутри со страхом, лишь бы дух, покоя не обретший, дороги назад не нашел, но... она вернулась через три ночи.

Отрешенно, будто сквозь пелену слушая гневную речь дочки, Осмомысл размышлял над тем, что ни один мудрец, ни один колдун, да даже те из ведунов, кто не успел скрыться и был схвачен по всей Руси, и они под самым лютыми пытками не могли растолковать, как теперь быть. Почему плоть мертвую после смерти коль разрубить, сжечь, по ветру развеять, а все одно почти всегда упырем или умраном вернется. И ведь если потом мертвяка растерзать, утопить, ко дну болота колом прибить, то ладится дело. Нынче каждый от мала до велика умеет приспешников Пагубы изничтожить, но в первую ночь, сразу после смерти... никак. Потому и сносят покойников люди подальше за стены частоколов, не мешкая, в лесах бросают непогребенными, без обряда. Да уж какие тут обряды, коль ни Лес, ни Яги не слышат.

Отогнав от себя совсем уж дурные мысли, князь с лаской поглядел на замолчавшую и теперь выжидательно стоявшую руки-в-боки дочку. Вздохнул тяжело:

— Как я вижу и от тебя не укрылась свара утренняя с сыном купеческим. — Говорил он не спеша, все еще не в силах отойти от плохого. Будто горький привкус на губах осела кручина, как кислого меда хлебнул. — Коль за родню тревожишься, то оставь. Пустое это. Поначалу были мысли наказать, не скрою. Да и дядьки твои, Нравичи, ох не прочь были родственной кровью посчитаться, да только я не для красоты венец княжий ношу, а потому крепко поразмыслил, что не повинна семья за беспутство сына своего. Не по закону это, не поймет народ. А сама понимаешь, времена и так не простые, нам лишние волнения ни к чему. Ты ж у меня умничка, сама все разумеешь...

— А молодец? — перебила было отца княжна, но тот лишь нахмурил брови и продолжил:

— А... молодец, — немалых сил стоило Осмомыслу не обозвать бранными словами наглого юнца, ох немалых. Если бы не лапушка. — Молодец при всем честном народе батюшку твоего унизил. Коль не знал бы я, что ты не спустишь мне такое, то тут же приказал бы вспороть ему брюхо. И на толпу не посмотрел. А так... Сама ты все, небось, слышала, знаю я тебя, лису. Согласился юнец на задание княжье, вызвался. Все по укладу. Вернется — сдержу слово.

Девушка блеснула недобро серыми глазами, глянула хищно в сторону все еще распахнутых дверей, не подслушивает ли кто. Шагнула чуть ближе к трону и с нажимом спросила:

— А меня? Меня ты спросил?

Князь долго смотрел прямо в красивое лицо дочери, невольно любуясь. Ну вылитая мать. Не отвел взгляда и сказал в тон:

– Только слово скажи, лапушка, и... не вернется.

Сквозь решетки окон на пол плеснули ярко-алые брызги. Красное солнце, почти упав за край, на миг разорвало густую пелену туч и послало стрелы-лучи прямоком в княжьи покои.

Миг, другой и закатилось.

Отсюда!

А у дядьки в хижине оружия оказалось вдосталь.

В схроне, пыльном и старом, вырытом под досками в дальнем углу, нашлось столько всякого для убийства ближнего своего, что оставалось только было диву даваться. Порой Отромунд задавался вопросом, а откуда у странного его пестуна топоров да копий на добрую дружину ватажников. Спрашивал от большого любопытства, да только всегда хмурый мужик лишь отмахивался – на всякий, мол, берегу. Что такого “всякого” может случиться, что понадобится сей немалый запас юноша пытался придумать и не мог, но знал, что пытаться дядьку бесполезно – не расскажет, коль сам не захочет. Вообще, парень не особо любопытствовал, чем жил-промышлял хозяин окраинной хижины, полагая его то матерым охотником, то бывшим ратником, то ушкуйником, ото-

шедшим от дел. Во всяком случае, умел и знал дядька многое, как человек, явно повидавший мир и попробовавший себя не только за плугом. Было в молчаливом кряжистом отшельнике такое, что веяло странствиями, подвигами, кровью и то сызмальства манило Отера, заставляло целыми днями пропадать здесь, за городским частоколом, среди кривых хижин небожков[12] и приبلудных. Это, да еще и то, что погодки не водились с ним.

Часто, сиживая на родной с детства завалинке вместе с дядькой, юноша думал, что, видать, сама доля свела их вместе. Буйный, молодой и скорый на слово и дело Отромунд славился дурниной своей на весь Опашь-острог, и все, от мала до велика, знали да издали еще примечали несущегося куда-то бедоносца. Спешно убирали с дороги хрупкое, крутили шиши охранные. И также как бросался в глаза молодец, также и неприметен был дядька. В те редкие разы, когда выбирался он в город, за южные ворота, и шел по настилам к торговым рядам или причалам, то казалось, что люд простой обтекает его, в глаза не смотрит, не заговаривает. Словно и нет его вовсе. Говорят, такими повадками славились восточные душегубы-наймиты бесерменские. Ходили так, жили так, дышали и выглядели так, что после все вокруг в один голос заявляли, те, кто живы оставались, конечно, что ничего не помнят. Ни во что одет был человек, ни какое лицо имел, ни как говорил. Тень. Слыхивал про таких Отромунд из сказаний старика Гахрена, которые тот любил порой ска-

зывать детворе на вечернем соборе. Да только не походил совсем хмурый бородатый дядька на восточного убивцу, никак не походил. А все ж умел, хороняка, быть, что называется, тише воды, ниже травы.

Копаясь в схроне и взвешивая в руке жутко неудобный бердыш, юноша усмехнулся. Вспомнил отчего-то, как пару лет назад, в очередной раз насмотревшись на дивное дядькино умение, тоже решил овладеть повадками бесерменскими. Знамо дело, не сказал тому ничего – поднимет еще на смех, но следил внимательно, стараясь примечать все до мелочи. А после, уверившись в своих силах, поставил себе задачу пройти таким манером от ворот городских хотя бы до корчмы Елдыги. И того вдосталь так-то никак не меньше трех сотен шагов. Сказано – сделано. Крутнул молодец утайкой пальцами крючок оберег, пробормотал шепоток на удачу и двинулся.

Аки тень.

Стоит ли говорить, что не миновал он и самих ворот, как угодил ногой в невесть откуда взявшуюся лужу и, оскользнувшись, перевернул ведро со скисшей ботвиньей, которое кто-то неведомый оставил здесь, видать, на выкорм свиньям. Вонючая жижа конечно же забрызгала подол дивного наряда проходившей мимо дочки зажиточного менялы Лямзи и даже попала местами на не менее дивные сапоги самого тяти, шествующего рядом. Оба подняли такой шум и визг, излупцевав горе-бесермена кто ладошками, а кто и подобраным тут же прутом, что юноша еле унес ноги. Лишь оказав-

шись на изрядном удалении от места расправы уяснил раз и навсегда Отромунд, что никак не выйдет из него душегуба не приметного. Не его это.

Ну и чур с ним.

После долгих раздумий юноша все же выбрал себе неплохой топорик, который хотел было заправить за кушак, да вовремя припомнил, что не имел такого, равно как и пояса с бляхами боевыми или, на худой конец, ремня наборного. Покрутил в руках топорик да и сунул за веревку, что порты держала.

И так сойдет.

Хотел еще было прихватить кистенек, да только передумал. Чай, не по подворотням идем кошело отнимать, а на подвиг. А когда уже собрался было прикрыть обратно схрон досками, то заметил на самом дне тайника рукоять меча, почти заваленного прочим барахлом. Не припомнил раньше он здесь такого. Дядька что ли притащил откуда? С него, старого плута, станется урвать где-то железяку.

Молодец ухватился за кожу рукояти, липкую, уже порядком подгнившую, и дернул раз-другой. Меч не поддавался, шел плохо и никак не хотел покидать свое укрытие. Хорошо ему было под тяжестью собратьев по ремеслу, уютно.

Выругавшись, Отромунд приподнялся, уперся одной ногой в бревенчатую стену, ухватил меч двумя руками и что было сил рванул на себя.

Кажется, лязг и грохот мог бы услышать даже воевода

Осмомысл в своих покоях, потому как вместе с освобожденным клинком по всей лачуге разлетелись бердыши, копья, топоры, палицы и куча прочего ратного хлама. Конечно же, каждая из железок сочла нужным зацепить что-то из скудного, но, как оказалось, звонкого убранства хижины. А дальше уж покатались крынки, брызнули глиняными черепками, разлетаясь на куски, горшки, рухнула на пол кочерга и дальше, дальше, дальше...

Юноша стоял среди постепенно затихающего грохота, и не было ему до того никакого дела.

Он с восхищением смотрел на меч.

Ладная работа, богатая. Когда-то за такое диво можно было бы выменять избу и немного земли, а, может, и свадебку сыграть. Однако ж теперь тот был изрядно трачен ржой, лезвие все потемнело, изъязвилось, оцетинилось щербинами, в навершии в пустых гнездах вместо камней драгоценных расположились мох и какая-то вечно влажная гниль, а вместо узоров на крестовине можно было лишь кое-как различить пару завитушек. Да и те были сточены от времени.

И все же отменный был меч.

Невольно оторвавшись от своей чудесной находки, Отромунд оглядел тот бардак, что устроил в лачуге. Спешно прибрал разбросанное оружие обратно в схрон и бережно прикрыл парой досок пола. А остальное? Да пусть его, дядька точно не заругает.

Вертя в руках находку, молодец вышел наружу.

– Откуда такое рубило доброе? – протянул он, обращаясь к пестуну. – Оселком бы его пройти и загляденье.

С этими словами он сунул чуть ли не под нос мужику острое, лишь чудом не срезав тому любимый ус.

Дядька отстранился, прищурился подслеповато и, оглядев меч, лишь пожал плечами.

Завалился, мол.

И парень радостно махнул им пару раз, рассекая воздух и воображаемых недругов. От плеча до пуза.

Выдвинулись от лачуги совсем скоро.

Собирать-то толком было и нечего. Разве что прихватил с собой юноша многострадальные свои одежды да старенькую вотолу[13], ночи уже холодные. Так и накинул ее юноша на голый торс, дав себе наказ рубаху да душегрейку отбить от грязи на первом же постое. Да еще меч, само собой.

Дядька многим оружием разживаться не стал, ограничившись лишь верным копьем, с которым почти никогда не расставался и часто пользовался как посохом. Хотел было как-то давно спросить парень, зачем ему в лачуге столько железа, коль всегда только одним пользуется, да не стал. Знал, что не ответит молчун.

Пока пробирались через трущобы до ворот, над Опашь-острогом быстро сгустились сумерки. Тяжелые, осенние.

– К тятэ бы заглянуть, весточку подать, – отчего-то шепотом сказал юноша, петляя меж покосившихся плетней. –

Негоже так, без наказа отцовского уходить.

И обернулся.

Шедший позади дядька лишь покачал головой, мол, сам знаешь, что опасно это. Коль обидел ты крепко князя, то его родичи-дружинники аль любая погань, что жаждет похлебнуть[14] владыке, уже ищут-рыщут тебя по всем закоулкам. А уж у дома родного и подавно.

Юноша вздохнул, но спорить не стал.

Верно мыслил дядька, верно.

Из-за черной покосившейся окраинной хибары показался провал южных ворот...

Не успел юноша сделать шага на дорогу, как что-то с силой дернуло его за плечо куда-то вбок, он и ахнуть не успел. Неведомый враг развернул его так, что Отромунда аж крутнуло вокруг себя, перед глазами все поплыло, и почти сразу он оказался увлечен в темноту ближайшей хижины. Справедливо подумав, что подлые прихвостни князя все же выследили его и, решив не дожидаться окончания срока, напали, парень стал размахивать мечом, надеясь во мраке наугад зацепить злодеев. Хотел было крикнуть дядьке становиться спиной к спине, как славные богатыри древности, что сражались так с подступающими ордами врагов, да не успел. Только раскрыл рот, в очередной раз опустив меч, и тут же получил увесистую оплеуху. До боли знакомую, надо сказать, оплеуху. Мир наполнился звоном, сквозь который еле слыш-

но доносился чей-то голос.

Глаза, быстро после сумрака улицы привыкшие к темноте, стали различать в руинах развалюхи два силуэта. Почти рядом с ним стоял незнакомец, закутанный в тряпье по самую макушку, видимо, хозяин крепкой затрешины. А возле прохода, с ленцой прислонившись к косяку, поигрывал копьем дядька. То, что пестун не спешит нападать на схватившего юношу врага было диковинно, однако ж Отромунда даже на миг не посетила мысль о предательстве. Не мог на такое пойти хмурый обитатель лачуги в камышах, никак не мог. А значит...

– Поори мне тут, – шикнули на него из-под темного тряпья, и парень, услышав голос, невольно расплылся в улыбке. Чтобы снова тут же зашипеть от боли, потому что вторая оплеуха, сестрица первой, вновь прилетела в гости.

– Тятя, – потирая горящее и распухающее ухо засопел Отер. – Да как же ты? Тут? А что?

– А что? – с притворной злобой передразнили из лохмотьев, и человек скинул с головы драный капюшон.

Перед юношей теперь стоял высокий человек. Был он почти лыс, лишь робкие седеющие прядки топорщились на висках, переходя в темную еще бороду. На широком лице читалась помесь тревоги и раздражения.

– Пустая твоя голова. Натворил ты дел, сынок, ох натворил. Мне уж соседи все рассказали. Я сразу смекнул, что ты первым делом в свои болота полезешь, там отсидишься, да

только никак не мог раньше прийти. Псы Осмомысловы чуть ли не весь день по городу рыщут, в каждую бочку заглядывают, под каждым лопухом вынюхивают.

– Да как же? – засопел юноша, крепко сжав кулаки. – Вас? Вас-то?

– Нет, – поднял тятя руку в успокаивающем жесте. – Я все же не последний человек в торговых рядах, да и среди ремесленников уважение имею. Не посмел бы меня князь тронуть. А коль кто из горячих голов бы решил удачу попытать, так для таких Муха одноглазый, брат мамки твоей, несколько ребят прислал от ладьи, блага ему. Оружных, при щитах да копьях. Пущай подежурят на подворье. Нам так покойней. А тебе...

Тятя на миг замялся, нахмурился.

– Тебе уходить надо. Крепко владыка за тебя взялся, не спустит обиды. Ввязался ты в свару. – Он ласково, по-отечески вдруг улыбнулся, глядя прямо в глаза сыну. – Эх, непутевыш ты мой. Стоит хоть того?

Отромунд серьезно кивнул.

– Люба она мне. Жить не могу!

Тятя протянул руку и неуклюже, как могут только скупые на чувства мужчины, потрепал парня по лохматой голове.

– Добро. Хорошо хоть удалось улизнуть мне к вечеру, прикрываясь задворками да сюда. Вот, – с этими словами мужчина протянул Отеру увесистую котомку, – держи, мать собрала. Да растяни на подольше, все сразу не схарчи. Знаю я тебя,

проглота. А теперь пора!

Мужчина слегка покосился в сторону дверного проема, туда, где все также недвижно стоял дядька. Сказал скупо:

– У ворот хоронятся два пса князьих. Я-то через ряды миновал частокол, сюда вышел и аккурат их приметил. Хорошо, успел тебя дернуть, иначе прямо на них бы выскочил. – Он поджал пухлые губы. – Выбраться подальше от острога сможешь?

– А то, – подбоченился юноша, воодушевленный подмогой тяти. – Через мосты за речку, а там уж к Ишему путь-дорога. Коль чего, то дядька выведет, он бывалый.

Тятя посмотрел на замолкшего Отромунда, глядел долго, мягко и грустно улыбаясь, и показалось вдруг юноше, что заблестели влагой глаза отца. Или почудилось. Небось звезды в прорехи крыши искрой брызнули. Мужчина шагнул к сыну и крепко, очень крепко обнял его.

– Усмехнулись тебе в глаза чуры, ох, все никак не привыкну... Благодти тебе в дороге, малыш! – прохрипел он прямо в ухо Отеру слегка дрожащим голосом. – Беги.

И молодец, не в силах больше храбриться, ткнулся лицом в пахнущее мокрым тряпьем плечо тяти.

Ночь уже давно замазала сажей все небо, когда юноша и дядька ступили с последних досок моста на раскисшую землю. Перед ними с тихим шелестом колыхалось черное поле, рассеченное дорогой.

– Что ж, – севшим голосом, но стараясь не выдать страха, пробормотал Отромунд. – Идем туда, не знаю куда. Ищем то, не знаем что.

Он изо всех сил старался удержаться, не обернуться, не бросить прощальный взгляд на родной Опашь, туда, где оставалась вся его прошлая жизнь, где оставался тятя, родня... Избава.

Потому что чувствовал, что если глянет, то может не достать ему сил шагнуть вперед. Воротится он, с позором бухнется в ноги князю, станет просить пощады. И знал, что пожалеет неразумного Осмомысл, не сгубит.

Что с дурака взять...

Он не обернулся.

Постоял, собираясь с духом, переваливаясь с пятки на носок, взвесил еще раз в руке ржавый меч-найденыйш и, не глядя на дядьку, ожидавшего рядом, выдохнул:

– В путь, что ли.

– Угу, – сказал спокойно тот как ни в чем не бывало. Будто каждую ночь доводилось уходить в страшный, полный чудищ и опасности мир.

И они неспешно двинулись по дороге.

Где-то в дальних лесах завывли дикие упыри.

Лист Ведающих: Упырь дикий

Облик.

Страшен видом упырь. Ликом и телом он как умран-мертвец, с плотью гниющей, с трупным смрадом, однако ж по-смертие исказило его черты – имеет он острые когти, длинные руки и пасть такую, что способен и кость, и жилы разгрызть. Бельма белые вместо очей. Быстр и ловок.

Обиталище.

В давние времена нечасто можно было встретить эту нежить. Разве что какая волшба лихая или недобрый мор вытаскивали упыря из земли, однако ж в теперешние времена вдосталь их по лесам и полям рыщет. Злая сила витает над Русью, оттого и не лежит покойникам в могилах.

Норов.

Кровожаден упырь да лют неимоверно. Движет им жажда плоти, людской ли аль звериной, не важно. Все на своем пути готов растерзать, разорвать.

Вняти.

Помнить следует, что гораздо опаснее обычного мертвяка упырь. Сильнее и ловчее он. А еще каждому наказ – коль

умрет в урочище знахарь аль ворожея, то непременно нужно все обряды защитные провести, потому как по смерти обернуться может даже добрый волшбарь в тварь мертвую, дикую, потому как сила чаровная берет свое. Но самыми лютыми упырями становятся чернокнижники умершие, кто пред Пагубой свой долг не выполнил, зла недостаточно причинил – тогда-то становится он не умруном, колдуном мертвым, а беспамятной тварью кровожадной.

Раньше, говорят, упыри да прочая мертвячина хоронились днем, страшились света. Нынче бродят и нипочем им ни солнышко, ни заря утренняя.

Борение.

Как и многая нежить, боятся упыри огня и железа. Так что любому путнику наказ в дорогу без доброго оружия не идти, а по темноте костры жечь на привалах.

Лист Ведающих: Упырь-служба

Облик.

Всем обликом схож упырь с диким своим родичем, да только порой умруны, что нежить сию подняли, облачают их для большей защиты в куски доспехов. Мнят себя пастыри мертвых воеводами.

Обиталище.

В отличие от дикого, упырь-служба всегда при хозяине. Куда укажет Воля умруна, туда и идет. Но не может, как и любая другая нежить, отходить он далече – разорвется связь, и тогда рухнет грудой гнилой плоти упырь, потому как поднят он с погоста волшбой черной, и без нее существовать не способен.

Норов.

Кровожаден упырь да лют неимоверно. Верно служит он умруну или ератнику, кто разбудил его, ради него может любое зверство сотворить.

Вняти.

Гораздо опаснее упырь-служба, потому как кроме имеющих ловкости да силы есть в нем теперь и доля Пагу-

бы, и Воля хозяина со всеми его знаниям ратными. Но помнить следует – коль изничтожить умруна, кому подчиняется тварь, то и само чудище сгинет.

Борение.

Как и многая нежить, боятся упыри огня и железа. Труднее одолеть упыря-служку, но можно.

[12] Небожек, небога – нищий, убогий.

[13] Вотола – плащ до колен, подвязанный веревкой.

[14] Похле

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.